

В.В. Розанов
Семя и жизнь

*По изданию: Собрание сочинений. Религия и культура. Том 26.
Москва, 2008 г.*

Впервые опубликовано в газете «Биржевые Ведомости» № 326, 1897 г. под одноименным названием.

Наружно погружаясь в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту...
Лермонтов

Существует в географической литературе легенда о том, как произошли кофейные плантации в Новом Свете: вскоре после его открытия один матрос нашел в кармане своей куртки завалявшееся зерно и, вместо того чтобы его бросить как ненужное, посадил в землю. От деревца, выросшего из зерна, и произошли все прочие в Америке. Можно представить в положении этого матроса рассеянного ученого, как Паганель в "Детях капитана Гранта", который ежедневно пил кофе, но мог не заметить, как и из каких зернышек оно смальвается; можно предположить, наконец, менее известное и даже вовсе неизвестное зерно. Во всяком случае, чтобы познать его природу — блага она или зла *ab origine et in se*, "в себе и искони", — нужно повторить поступок благоразумного матроса. То, что от семени поднимается, особенно в начальную пору своего существования, пока еще ветер и стихии не наложили на поднявшееся своей затемняющей печати, — выяснить истинную природу семени. Все предикаты "деревца" суть предикаты неизвестного "зернышка".

Способ познания, на который нет апелляции. Он невольно представляется уму как самый простой и естественный при прислушивании к странному спору, который, здесь и там завязываясь, как-то не хочет замолкнуть в нашей литературе. Мы говорим о плотской любви, о половом влечении мужчины и женщины — да извинят нам термины, уже

всюду начавшие повторяться. Это — "низменный инстинкт", определяет его г. Вл. Соловьёв в статье "Судьба Пушкина" ("Вестник Европы", сентябрь 1897 г.); "животное и грязное чувство, лживо изукрашенное поэтами", определяет г. Меньшиков ("Элементы романа", в "Книжках Недели" за сентябрь — октябрь, 1897 г.); "преступление, сообща творимое мужчиной и женщиной", как формулировал уже давно, но памятно гр. Л. Толстой в "Крейцеровой сонате". В защиту его робкие голоса подымают г. Евг. Марков в "Новом Времени" ("В защиту молодости") и наш известный ученый Б.Н. Чичерин в статье "О началах этики", напечатанной в "Вопросах философии и психологии".

Последний возражает на учение о стыде как источнике нравственного в человеке чувства, которое развил г. Вл. Соловьёв в его "Оправдании добра". "Постыдна отдача себя половому влечению", — говорит знаменитый наш философ ("Оправдание добра", стр. 54); возражая на возражение г. Чичерина, он говорит еще, что этот "безнравственный инстинкт" ("Вопросы философии и психологии", с. 675) в своих могучих порывах если и содержит какое-нибудь положительное, благое начало, то лишь как косвенное средство для человека выявить "воздержание, нравственную победу: при отсутствии таких порывов целомудрие было бы пустым словом" (с. 676). Итак, это — черная тень, нужная, чтобы сиял свет воздержания. Возражение г. Чичерина, правда, не очень глубокомысленное, состоит в следующем: "Мужчины, можно сказать, почти без исключения, кроме разве некоторых изуверов, не стыдятся избытка материальной силы, а стыдятся ее недостатка. Не победы, а неудачи составляют предмет стыда. Лишение способности считается для мужчины позором. Хорошо или дурно такое воззрение — это другой вопрос; мы имеем здесь дело с фактом, и факты показывают, что человек вовсе не стыдится быть животным, а, напротив, этим гордится. Аскеты, с точки зрения отвлеченных нравственных начал, могут говорить, что им угодно, психологический факт остается непоколебим" ("Вопросы философии и психологии", кн. 39, с. 596).

И вот, читая всё это — и эти защиты в фривольных и грубых словах, и потоки грязнящих порицаний, — хочется плакать. Г-н Е. Марков правильно потянулся обнаружить то "милое и благое, скромное и прекрасное", что есть в этой любви; он же отметил тонко, что именно телесное, чувственное влечение лежит в основе этого благого. Но он не доканчивает, и одушевленная аргументация его не достигает дна вопроса, не затрагивает скрытого зерна спора. Есть загадочный стих в "Фаусте" Гёте:

Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen?
Die wenigen, die was davon erkannt,

Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten,
Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man von je gekreuzigt und verbrannt. —

т.е. "кто дерзнет назвать дитя его настоящим именем? Немногие, знаящие об этом что-нибудь, которые не остереглись безумно раскрыть перед чернью свое переполненное сердце, обнаружить свой взгляд, — тех распинали и сжигали".

И вот нам хочется дать комментарий на эти таинственные слова веймарского многдумного старца. Метод кофейного деревца поможет в этом.

Передо мной младенец. Совершенно очевидно, что его предикаты суть предикаты... "кофейного зернышка". Проходит час, идут часы, и, не отрываясь, я пронизываю его взглядом: это — не только сияние жизни, в той свежести и чистоте, которую мы утратили "под затемняющими ветром и стихиями", но и совершенно ясно, что это — безгрешность, и, собственно,— это единственная и бесспорная безгрешность, какую на земле знает и испытывает человек. Граф Толстой, в "Смерти Ивана Ильича", еще не предвидя написания "Крейцеровой сонаты" и не догадываясь, какой аргумент он против нее построит, говорит, что лишь детство, лишь одно детство в своей незапятнанности вырисовывалось, как чистая и беспримесная радость в воспоминании смертельно заболевшего чиновника. Да что мы будем говорить о его героях: начиная литературную деятельность, он сам прежде всего, ранее всего торопливо заговорил в чудных рассказах о "детстве и отрочестве". "Невинность" — мы говорим о младенце; но только ли это одно? Не виновен ни в чем и камень, и есть разница в содержании этих предикатов у него и у младенца: младенец имеет положительное в себе, т.е. в нем есть не только отсутствие греха, но и присутствие святости. И в самом деле, не замечали ли вы, что дом, в который вы входите, — когда он не имеет детей, — мрачен и темен, именно духовно темен; а с играющими в нем детьми как будто чем-то светится, именно духовно светится. Да, аскеты фиваиды, эти 90-летние старцы, наполовину закопавшиеся в землю или ночующие в гробах, как пишут историки, всё-таки не достигли до детей по бесспорному слову Спасителя: "Истинно, истинно говорю вам: если не станете такими — не войдете в Царство Небесное". Итак, дом потому светится детьми, что, в сущности, он ими освящается, санкционируется в бытии своем, в труде своем, в своих заботах. Этот возящийся около ящика с игрушками мир, двух- и трехгодовалый мир, есть уже осуществленное "царство небесное". Около него, как земля и подножие, раскидывается вся остальная жизнь.

Но "деревцо" было не всегда так велико, и, отступая назад, мы следим за его умалениями:

Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит;
Травку выманила к свету,
Хаос в солнце развила
И в пространствах, звездочету
Неподвластных, разлила...
У груди благой природы
Всё, что дышит, радость пьет;
Все созданья, все народы
За собой она влечет...

Так говорит Шиллер, и, занятые нашим вопросом, мы входим в глубины "тайной силы броженья", в "кубок жизни", "пламенеющий", по определению поэта. Да — это пламя; но г. Меньшиков и все с ним аргументирующие не заметили в Библии одного многозначительного определения: "Аз есмь огонь поедающий" (Второзаконие, гл. 4, ст. 24). Да, чтобы "клубить миры" и рассеивать звезды, для исчисления которых недостаточна наша нумерация, конечно, нужна не мутная водица, или даже не водица кристально чистая, но именно, как и сказал о Себе Господь: "огнь поедающий"; "Бог ревнующий" — прибавил Он почему-то тут же. Но мы входим в "кубок жизни"; деревцо ушло в темную могилку; перед нами — мать, завтрашняя мать, сегодня "имущая во чреве", и снова мы припоминаем замечательное определение Апостола: "чадорожением женщина спасается". Да — "спасается"; то есть "чадорожение" не есть черная тень, оттеняющая свет и светы "воздержания", но оно есть некоторое положительное, определенное благо; и, как указывают предикаты младенца, — оно не только "благо". Но, при святом на него воззрении, и свято. Удивительно, как много зависит от воззрения человека, от точек, на которые он становится, чтобы созерцать вещи: под каламбуром, ужимками, подмигиваниями и молитва становится каламбуром: но читайте ее серьезно, и она станет во всю величину свою. Все люди, весь мир — какой заботой, уважением окружают "имущую во чреве": ей — все места, и всякий покой, но прежде всего уважение. О, как бедна перед нею девушка; как она мало постигает! И наконец, взгляните же пристальнее, вы увидите, что в чертах матери, в сложении материнства действительно просвечивают, излучаются предикаты мла-

денца. Мать сама полна таких тревог, таких особенных забот и мыслей, и, наконец, полна такой серьезности в воззрении на мир, людей, людские отношения, что совершенно ясно, что после девства она вступила на высшую ступень, и именно в категории тех предикатов, какие мы определили для младенца. "Царство Божие" теперь не около ящика с игрушками; оно схоронено под землею, "клубится", и "клубит" его искра "поедающая", в него опущенная. Да, мы не имеем третьего выбора, стоя перед этим явлением, должны или вдаться в плоскую пустынную Геккелева — Дарвинова созерцания, о коем читается в неделю Православия: "Мир мниша быти без Бога — анафема"; или сейчас и здесь, стоя лицом перед кардинальной тайной мира, перед труднейшей его задачей и вместе — задачей самой высокой по предмету, сюда замешанному (человек), мы будем "мнить мир с Богом", но с "Богом" именно отсюда начиная, здесь и впервые Его непосредственно, субъективно, в таинственном материнстве ощущая. Мы видим, что источник излучивания матери, как и странных предикатов младенца, которого только еще "носило чрево" и "питали сосцы", имеет некоторые таинственные и действительные для себя основания. Но мы идем дальше, руководимые методом кофейного деревца; месяцы тают, тают недели, скрываются дни, и перед нами... миг, когда благоразумный матрос опустил в землю кофейное зернышко.

Еще не мать, но уже жена; и незадолго перед этим девушка, в окружении странных волнений, которые возбудили о себе столько споров. Перед нами — пол... Что такое? Предмет стыда, т.е., поправляем мы, застенчивости, и этого странного инстинкта, в силу которого всё в природе понижает голос, начиная говорить о важном:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья...
Свет ночной, ночные тени...
И заря, заря...

Так пел Фет, и совершенно очевидно, что влюбленные, "робко дыша", не стыдятся же друг друга. Нельзя себе представить, чтобы Сократ, уча учеников, "кричал на всю площадь". Кто не замечал, что ораторы, т.е. крикуны, никогда решительно не бывают ни глубокими мыслителями, ни тонко организованными поэтами. Ньютон, сидя в парламенте от Оксфорда, однажды только встал, чтобы сказать несколько слов о монетном деле, о коем велись дебаты, но, страшно сконфузившись и никем не услышанный, сел тотчас опять на скамью; и между тем известно, как много говорил и мало конфузился Гамбетта. "Любовь" и

"миг посадки зерна" ищут ночи и тишины; да, ночи:

...Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха; пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит.

Ночь темна, т.е. она таинственна, но не грязна; в ее тишине поэты задумывают свои создания; и замечательно — ночь действительно есть великая сеятельница, какая-то таинственная сеятельница для целой земли; нельзя представить себе гениальную мысль или чудный стих, которые бы вызрели в человеке в 12 часов дня. Вот причина, почему, как только развивается, т.е. утончается и углубляется цивилизация, — люди начинают время бодрствования, время обмена мыслями, веселого общения, как и время серьезных занятий в уединенном кабинете, передвигать незаметно на ночь. Сомневаюсь, чтобы не ночью, но только днем, именно от начала и до конца днем, написал свои произведения граф Толстой, сторонник простоты и норм деревенской, крестьянской жизни. Итак, ночь — время духовного и также живого посева. И мы застенчивы, укрываемся, "шепчемся" — именно когда становимся чрезмерно серьезны, или когда растроганы, или когда интимны. Замечательно: после долгой разлуки встретившиеся хотят почему-то всегда быть одни; посторонние им помешали бы... Но что такое пол?

Жизнь. Она начинается там, где в существах возникают половые различия; и эти последние начинаются там, где появляется жизнь. Растения — и те не лишены пола, но совершенно лишены — камни. Глубоко поэтому, и как бы выявляет мысль всей природы, наименование подруги первого человека "Евою", что значит одновременно и "женщина" и "жизнь": т.е. указывает, что "женщина" — это и есть "жизнь", что в ее половых отличиях, и соответственно, конечно, в половых различиях ее друга, и лежит тончайший субъективный нерв жизни. Но полнее и отчетливее — что же это такое?

Не без причины пол ищет мрака, любит ночь. Это он сам есть темнота, но уже не окрест человека, но в человеке. Темнота не как грех — о, нет! — но как важное. Человек имеет день в себе, в своей организации, в своих выявлениях: ну, торговать, конечно, нужно днем — не просчитаешься; но придумывать рифмы — ночью, иначе ошибешься. На биржу мы спешим утром, но замечательно — в храм идем или ко "всенощной", или к "утрене", т.е. или перед полночью, или сейчас за полночью; в обоих случаях по темным еще улицам и до восхода солнца. Пол — это начинающаяся ночь в самой организации человека: в том смысле, что ясно анатомическое и сухо анатомическое его расчленение

теряет здесь ясность, сухость и вместе рациональность свою. Всё, приближаясь сюда, становится трансцендентно, т.е. не только окружено это трансцендентными по необъяснимости своей бурями, "огнем поедающим", но и вообще как-то переливается в значительности своей за край только анатомических терминов. Это — второе темное лицо в человеке, и, собственно, оно есть ноуменальное¹ в нем лицо: от этого — творческое не по отношению к идеям, но к самым вещам, "клубящее" из себя "жизнь"; но оно так густо застлано от наших глаз туманом, что, в общем, никогда его не удавалось рассмотреть. В нормальном случае, сейчас после невинности и даже еще невинные, юноша и девушка, тяготея друг к другу, бесспорно, полом, тяготеют им не функционально, но лично: ясный знак, что пол — не функция, не орган, — ибо какой же есть человек, который предпочел бы лучше умереть с голоду, чем непременно есть эту кашу и этой ложкой? Не дышать вовсе, чем дышать в этой комнате?

Жги меня, режь меня,
Ненавижу тебя...
(Пушк. "Цыгане")

Это вполне трансцендентное восклицание. И не было бы любви, целомудрия, брака, "материнство" и "дитя" не были бы самоизлучивающимися явлениями — если бы пол был функцией или органом, всегда и непременно в таком случае безразличным к сфере своей деятельности, всегда "хладным", "невывирающим". От этого насильственное нарушение целомудрия, т.е. именно отношение к полу, как к органу, — так потрясает, внушает ужас и невыразимую жалость к потерпевшей, а сама она часто мучительно ищет смерти, как будто перервалось, разрушено трансцендентное основание бытия ее. Тут вовсе не "обида" только — о, нет! Но "разрушение" человека. И не без причины "функция" с "органом", по закону "потребности" и "голода", что всё и входит в акт насилования, наказывается как "убийство". Второе, мы говорим, едва просвечивающее в темноте лицо — потустороннее, не от сего мира; и этому глубоко отвечает, что ведь и источники жизни никто же не признает "от сего мира", посюсторонними. "Бог взял семена из миров иных, и посадил их в землю, и взрастил сад свой; но всё живет на земле касанием

¹ "Ноуменон" — основное в философии Канта понятие: "Вещь тою стороною, своею, которою от нас скрыта и вместе которою существенна". Лучше, однако же, потому что ярче и сложнее, это важное понятие выразил Достоевский в словах, которые мы сейчас приведем.

таинственным миром иным" — так сказал еще Достоевский устами умиравшего старца Зосимы ("Братья Карамазовы"). И до известной степени — да тут же помогает нам и физиология и анатомия — это касание вообще происходит через пол и, теснее, в половом общении¹. Вот источник странных бурь, его иногда сопровождающих, и того, что — как заметил Достоевский же — "тут берега сходятся". А что всё это ищет тайны — ну, да просто потому и ищет тайны, что природа всего этого, выражаясь шутливо, сократическая: т.е. более похожа на силенообразного афинского мудреца, чем на болтливую и современного нам оратора французов. Великая волшебница, наполняющая мир своими созданиями, не хочет, чтобы подсматривал за ней пустой и неуважающий человеческий глаз. Мир не хочет быть плоским и ясным, как доска, как день, как утро, как биржа, но чем-нибудь и как-нибудь он хочет оправдать слова поэта:

Друг Горацио — есть многое на свете,
Что и не снилось нашим мудрецам.

И кто же не поймет инстинктивно, что этому "не снившемуся мудрецам", в самом деле, гораздо более подобает быть скрытым, укутанным, хоронящимся, нежели кичливо выявленным на поверхность: и, можно сказать, Венера Медицейская, "стыдливо" поднимая одну руку против персей и другую опуская к чреслам, говорит автору "Стыда, как основы нравственного чувства" и другому, автору "Элементов романа":

Есть, друг Горацио...

И вот, я вспоминаю младенца: эту выявленную мысль Божию, мысль — в плане создания своего, в улыбке, невинности и чудной безгрешности. Как уже заметил тонко Достоевский, для понимающего человеческую природу нельзя без слез смотреть на младенца; или, как ту же мысль высказал и старик Гёте, нельзя смотреть на него "без перепол-

¹ Этим объясняется, что эту одну "функцию" церковь обволокла обрядом, признала таинством, не сделав последнего даже для такого торжественно-мистического момента, как смерть, как погребение. В церкви нет пассивно-допускающего отношения к тайне: "два в плоть едину", но активное и сорадующееся: "Венчаю вас славою и честью", — говорит священник брачующимся. Т.е. на "спадающее" дело "чадородения" не смотрите с поверхностной людской точки зрения ("каламбур"), но я вам открываю на него воззрение, как на "славу" и "честь". Замечательно, что наше духовенство, именно начиная с "Крейцеровой сонаты", стало усиленно и яростно нападать на Толстого, который предположил, что церковь лишь "допускает" "преступление сообща двух". Зародыш этого ошибочного и коренного его воззрения есть уже в "Анне Карениной".

ненного сердца". Откуда это, тоже, пожалуй, трансцендентное волнение в нас? Ибо что нам ребенок? Чужой? Беспомощный? Но как-то, глядя на него, мы и в себе пробуждаем как будто видение "миров иных", только что, только оставленных этим малюткой; ведь поэту же пришло в голову стихотворение:

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез.

И еще далее:

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли...

Младенец и в нас пробуждает чувство этих только что им оставленных миров, коих свежесть, яркость, а также и святость он несет на губках своих, на безлукавых глазах; и, бросая всякое дело, мы к нему бросаемся. Как мрачный впоследствии создатель "Крейцеровой сонаты", в свое время бросив Севастополь и взявшись за перо, не стал изображать тех, о ком поэт же сказал:

Отцы пустынноики и жены непорочны, —

но, чутко поняв, что не пустыня есть колыбель и прототип "непорочности", нарисовал нам детскую спальню, в ней Колю и Володю — одного еще спящего и другого проснувшегося, и старого младенца, которого "тоже" есть Царство Небесное — Карла Ивановича. Вот правда, вот истина. И мы никогда не забудем, что Бог есть Бог живых, а не Бог мертвых, или, как Он же сказал: "Оставьте мертвым погребать мертвых".

В. Розанов